О СЕБЕ

Трудно рассказывать о себе. Или надо начинать по порядку, шаг за шагом, или выбирать отдельные моменты, наиболее яркие, наиболее характерные, оставившие след в моем творчестве, в моей психике.
Вот родословная: отец почему-то был приписан к мещанам г. Симбирска, но сидел на земле, занимался крестьянством. Мать — настоящая неграмотная крестьянка. Отец для своего времени был довольно грамотный, развитой, служил унтер-офицером лейб-гвардии Уланского полка в Петербурге. Фамилия его — Скобелев. Моя фамилия Неверов - литературный псевдоним. Родился я в 1886 году 20 декабря в селе Новиковке, Мелекесского уезда (б. Ставропольский), Самарской губернии,— третьим по счету. Старше меня — брат, занимающийся теперь крестьянством, Иван Сергеевич, и покойная ныне сестра. Отец тогда вошел в зятья в дом моей матери. Родился я, провел детство и юность до шестнадцати лет исключительно в доме деда, который, не имея своих сыновей, считал меня чем-то вроде приемыша. По окончании военной службы отец отошел от деда, но я не пошел вслед за отцом и остался с дедом, так как он имел в то время бакалейную лавочку, и мне у него жилось недурно,— совсем не так, как моему старшему брату и сестре. Кстати сказать, отец любил выпить, часто скандалил под пьяную руку, и я в дом ходил к нему только вроде гостя на одну ночку. Крестьянство и тяжелая мужицкая работа отцу впоследствии совершенно надоели, и он, видимо избалованный Петербургом, решил искать легкой жизни: продал дом, передал деду часть ребят на временное попечение и с матерью да со старшим сыном, которому тогда было лет двенадцать, ударился в Сибирь. Сибирь его встретила плохо, он перебрался в Самару, служил швейцаром, городовым, но, не будучи от природы чиновником, полицейским, вечно ссорился с начальством, закладывал лишнюю рюмочку и вообще считался человеком «плохим», слабым. В это время померла мать, когда мне было лет двенадцать, и я с отцом почти порвал всякую связь, да и никакой связи, собственно, не было между нами, хотя по-своему любил его, но всегда стеснялся и большую привязанность чувствовал к деду.
Грамоте я научился очень рано, лет шести, от старшего брата, который тогда ходил к дьячку. Способности к учению у меня оказались хорошие, и я чуть ли не обогнал брата чтением. А когда меня, видимо по моей просьбе, повели к тому же дьячку, имени которого сейчас не помню, я сказал там ему какую-то дерзость, вел себя непринужденно, за что был тут же посажен в темную комнату, напугался школы и еще не заглядывал туда больше году. А потом, как сейчас помню: низкое темное здание, длинные парты, грязный потолок и перегородка в церковную сторожку. Я сижу учеником на одной из парт и очень бойко отвечаю по закону божию попу Петрову, которого звали «курносым». Грамоту, письмо и арифметику преподавал нам страховой агент и он же псаломщик — Д. А. Ивановский, человек, пораженный алкоголем, но очень добрый и простой. Он вечно лежал за перегородкой у сторожа, а я, как наиболее способный ученик, ходил с линейкой между парт и за него, по его просьбе, показывал младшему отделению буквы. Память у меня была замечательная, и я с одного разу запоминал целый рассказ, целое

стихотворение. О грамматике мы, ученики, не имели никакого понятия, и единственно, что сказал нам наш учитель,— это вот: перед «а», перед «что» и «который» пишется запятая.
Три отделения церковной школы я кончил лучшим учеником и решил сделаться крестьянином, пахарем, ибо к тому времени бакалейные дела у деда пошли на убыль, и он стал заниматься посевами. Крестьянская работа в поле казалась мне самой лучшей на свете, и я также быстро научился пахать сохой, жать серпом, плести лапти. Помню: плетение лаптей доставляло мне неизъяснимое удовольствие. Я воображал себя каким-то старичком, и оторвать меня от этой работы стоило большого труда. Но продолжалось это увлечение недолго: как только постиг я лапотное искусство, тут же и охладел к нему. Это моя характерная черта: потом я и к крестьянству охладел. А были годы, когда я, десяти-двенадцатилетний мальчишка, воображал себя мужиком, крестьянином, имел свой кисет с табаком, на все вещи смотрел мужицкими глазами, подсаживался к мужикам, говорил о мужицком. Почистить, бывало, двор зимой, убрать скотину, выйти ночью к лошадям, съездить на гумно за соломой и потом позавтракать, посидеть за блюдом жирных дымящихся щей — было для меня что-то особенное, чего я и сам не мог понять.
Лет с пятнадцати началось во мне какое-то брожение. Вдруг ни с того ни с сего совершенно пропала охота к крестьянству и захотелось сделаться «половым» (официантом). Видел я и раньше этих людей, когда ездил с дедом в Симбирск за товаром; и они производили на меня неотразимое впечатление: черные пиджаки, большие салфетки под мышкой, артистическое лавирование с подносами между столиков, звон посуды, дымящиеся чайники — все это волновало меня несказанно, и думал я, что лучше этой жизни ничего не может быть!
В год смерти моей матери попал я в Самару к отцу, прошел мимо чайной, и сердце мое затосковало смертельно, но вместо чайной жена городового, Анна Андреевна Бурмистрова, отвела в губернскую типографию и там определила мальчиком. Типографские машины, шум ремней, запах красок, огромные листы бумаги, выбрасываемой машинными «грабельцами», моментально убили во мне любовь к чайной, и я подумал с трепетом душевным:
— Вот она, настоящая жизнь.
Дали мне бостонку, заставили печатать штемпеля на конвертах для волостных правлений. Показывать и разъяснять долго не пришлось. Выучился я моментально подкладывать конверты, ибо полюбил этот «фокус», и через два-три дня изготовлял по нескольку сот экземпляров. Я даже огорчался, когда кончались рабочие часы и нужно было уходить из типографии. А потом опять перелом. Не помню точно теперь, но, кажется, через неделю, не больше, надоела мне вся типография, и моя бостонка, и мое занятие, ибо я достиг своего, а дальше меня не пускали в ход, ничего нового не показывали, и я больше не являлся на работу, вернулся в деревню к деду и решил отдать себя крестьянству. Осенние деревенские ночи, осенние праздники, свадьбы, вечерки, девичьи посиделки, песни под гармонь — вся эта музыка коснулась как-то по-особенному моей души, и я ушел в эту жизнь, в эту поэзию целиком.

Но все это было не то. Я не знал самого себя. Какая-то сила опять оторвала меня от деревни и совершенно неожиданно увела в село Старую Майну, за восемнадцать верст, и поставила за прилавок в галантерейную лавку купца Никифорова. В лавке я чувствовал себя как рыба в воде: пуговицы, ленточки, тесемочки, гребешки, булавки, иголки, запах скипидара, камфары, мыла, масла, красок, подметанье полов, беганье с чайником, разговоры с покупателями — вот где была музыка. А в дому купца по ночам после торговли была другая музыка: моя новиковская дерюга и спанье на полу в кухне, тишина и заброшенность, строгий хозяйский окрик. Я чувствовал какую-то несправедливость. Эта несправедливость скоро вылилась в страшную скуку, и в базарный день, бросив в кухне хозяйской свою дерюжку, бежал я снова к деду, но не надолго. В этот же год осенью попал в посад Мелекесс (ныне уездный город) и встал за прилавок уже мануфактурного магазина купца Березина, или, вернее, не за прилавок, а около дверей. Опять увлекла меня новая жизнь: очень нравилось мне мерить материю, развертывать платки, полушалки, разговаривать с покупателями, но меня, довольно большого парня (лет 16), больше всего заставляли бегать с чайником за кипятком, заправлять лампы, мести полы, убирать скотину на дворе.
Здесь необходимо сделать отступление.
Еще лет двенадцати или несколько раньше поразил я самого себя стихотворством. Случился этот «грех» со мной странно, непонятно, совершенно помимо моей воли. Был у нас в селе портной Тюкан. Зимой по вечерам мы, ребятишки, собирались у него на картежную игру и резались в три листика. Я по обыкновению всегда проигрывал. А у деда в дому очутилась в это же время лубочная картинка: разоренные домишки, пропившиеся мужики и здоровый краснощекий целовальник. Объяснение к картинке было написано стихами. Мне почему-то вдруг запала в голову мысль написать вот такие же стихи и про Тюкана, который разоряет нас, ребятишек. Это, кажется, не вышло, а вышло совершенно другое: я, что называется, «продернул» всю нашу улицу — Рязань, и вот уцелевшие в памяти строчки из первого моего «поэтического» произведения:

Антон беднота,
Митрий бормота —
Квартал прочь.
Кума Степанида,
Тюкан коровья гнида —
Квартал прочь.

И т. д.

Прочел я все это ребятам, мужикам, бабам, вызвал смех, одобрение, и первая «слава», первое сознание, что я умею складывать, сделали свое дело. Совершенно не имея никакого понятия о правилах стихосложения, я упорно складывал строчки, подбирал рифму, и вся прелесть стихотворного искусства заключалась для меня в том, что каждая строчка на конце «слово в слово приходится».

И вот, очутившись в Мелекессе, я услышал однажды за хозяйским столом насмешливые разговоры о том, что на Большой улице у них живет сочинитель, а из Петербурга ему за это присылают деньги, и он будто бы получил целых сто рублей. Живя в Мелекессе, я тоже писал стихи в уголку за печкой и читал их кухарке Аксинье. Она была в восторге от моих стихов, часто даже плакала от «умиления», но я никогда не думал о том, что стихами можно заработать сто рублей. Сердце мое взволновалось. Я разыскал сочинителя (поэт-самоучка крестьянин Денисов из села Кондаковки), раскрыл перед мим тоскующую непонятую душу, показал свои стихи и, к огорчению своему, получил ответ:
— Надо учиться, знать размер, ударения.
Достал я, помню, синтаксис Кирпичникова и с головой ушел в учебу, чтобы осилить «знаки препинания».
Конечно, измучился, обалдел, ничего не понимая. Решил учиться всерьез. Но как? Где? У кого? Набрался смелости и пошел к священнику Высокову, рассказал: так и так, мол, поэт-сочинитель, хочу учиться — помогите. Помочь он не помог, но и смеяться не стал. Однажды, идя к нему в церковь, чтобы взять рекомендацию для поступления в Озерскую второклассную школу, увидел возле него маленького седого старичка живописца. (Фамилии его, имя (!) и отчества, к большому своему огорчению, я не знаю.) Священник показал ему на меня, тот заинтересовался, пригласил к себе на квартиру, ободрил, успокоил, решил устроить меня в Вольскую учительскую семинарию, но ввиду того, что я был совершенно неподготовлен ко вступному экзамену, посоветовал поступить прежде в Озерскую второклассную школу, где экзамены попроще, дал на дорогу рубль денег, и я покинул магазин купца Березина. Отслужил молебен за пятачок, покрестился на соборную колокольню, и с сумочкой за плечами, с желанием учиться пошел пешком из Мелекесса за сорок верст в село Озерки на экзамен. Подробности опускаю. Поступил, стал учиться стипендиатом. Это было в 1903 году.
Через три года кончил, получил свидетельство учителя школы грамоты. Будучи учеником, напечатал первый рассказ в петербургском журнале «Вестник трезвости», получил десять рублей гонорару. Радость нельзя было измерить ни ковшом, ни ведром, ни лопатой. Совсем очумел, что называется. По окончании школы поехал в Самару искать должность писца. День торговал газетами, три дня таскал мусор на постройки, устроил стихотворения в самарской газете—ударился в Оренбург, где в то время кондуктором на железной дороге служил мой старший брат. Однажды читаю в оренбургской газете: «Нужно лицо, умеющее писать стихи на злобу дня. Адрес: Гранд-Отель, спросить мадам такую-то». Работы постоянной не было, и я подумал: «Могу ли я писать стихи на злобу дня?» И тут же сказал самому себе: «Могу». Пошел. Оказалось, что попал я к содержательнице кафе-шантана. Получил темы, лозунги. Как сейчас помню предложенную мне заключительную строку, которой должен заканчиваться куплет:

Он подрастет, он подрастет.

Это было об одном молодом человеке, которого осматривал доктор как венерически больного. И еще что-то было заказано о старичке и т. д. Я посмотрел на это, как на хлеб, который мне нужен, взял заказы, просидел целую ночь, отнес — не приняли. Опять просидел целую ночь — опять не приняли. Носом у меня тронулась кровь от переутомления, но я опять работал. Приняли, заплатили мне пять рублей золотом, хвалили мои таланты, звали с собою в путешествие, просили захаживать к их девочкам, чтобы знакомиться с бытом, и говорили, что у меня «громадный талант кафешантанного поэта». (Это буквально.) Я, конечно, деревенский паренек, совершенно не понимал, куда я попал, ибо кафе-шантан казался мне большим театром, меня обожгли похвалой, и похвалила не кто-нибудь, а солидная дама, «барыня», и я чуть не поскользнулся на этом пути, но письмо от «Нютки Логиновой», моей первой любви, сразу меня отрезвило. Она (в то время гимназистка, революционерка лет семнадцати) писала мне из Самары, что она вместе с товарищами идет в народ и будет бороться с царским произволом. Такого удара я не мог перенести. Как! Она революционерка, идет в народ, возможно погибнет, а я пишу стихи о старичках! Нет, это нехорошо. Я тоже люблю народ, тоже готов служить ему бескорыстно своими «знаниями», и вот я снова бегу в деревню и поступаю учителем школы грамоты на десять рублей в месяц в глухую деревушку Письмирь, Ставропольского уезда. По деревням я служил шесть-семь лет, питом женился в 1912 году, перешел в земство и еще прослужил года три. Затем был мобилизован на войну в 1915 году и с тех пор совершенно оторвался от школы. На войне все-таки не был, оказался «тыловым».

После первого рассказа, напечатанного в «Вестнике трезвости», поместил там еще несколько рассказов, затем работал немного в «Русском богатстве», «Современном мире», и постоянно до 1917 года в «Жизни для всех», выступая преимущественно с рассказами из жизни учителей, сельского духовенства и крестьянской бедноты. В общем, писал мало, по рассказу, по два в год.
В 1922 году перебрался в Москву.
Вот как будто и все.

20 октября 1923 г.